

ВСТРЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Когда открываешь дверь, то даже в солнечный день прохладные, темные, как погреб, крыльца обволакивают таинственным, напряженным запахом керосина. Стертые старые ступени покосились и оттого стали еще крепче, будто вросли друг в друга, а каждый входящий в дом еще сильнее спаивал их, вколачивая словно огромные деревянные шляпки гвоздей в землю и в тот воздух, что тоже был упругим и крепким, много лет теснясь в неволе под старым, гладким деревом ступеней.

Может, оттого и пахло керосином в сених, что сжатый, плененный воздух был взрывоопасным, и опасность эта жила в предупреждающем о ней запахе, чтобы кто-либо не стукнул сильно острым каблуком в звонкую, напряженную ступеньку, и чтобы не взорвалась и не взлетели на воздух и крыльцо, и сени, и дом...

Скользящим, привычным движением ощупав первую широкую ступень носком войлочного тапка и ухватившись за дверной отполированный косяк рукой, Проня остановилась, нерешительно потрясла суковатой палкой, потом постучала ею об пол.

— Душенька! — крикнула она скрипуче в тяжелую, насыщенную керосином прокладу.

В доме зашуршало, и через несколько секунд обитая старой кухонной клеенкой дверь, муркнув, отворилась, и темные сени посветлели.

— А! Пришла!

В проеме, подперев кулаками сухие бока, стояла старая Пронина подруга Евдокия. Она высокомерно и насмешливо смотрела на виноватую Проню.

— Душенька, а я вот решила тебя проведать, — сказала Проня, опустив глаза и разглядывая стертую кривую ступеньку. — Мимо шла по делам своим, дай, думаю, зайду к подруженьке своей...

— К подруженьке! — возмущенно воскликнула Душа, — Подруженька нашлась!

— А как же? — изумилась Проня и подняла глаза на Евдокию. — Разве ты мне не подруга?

— По делам она своим шла, — проворчала Евдокия и повернулась к Проне спиной. — Какие у лентяйки могут быть дела?

Она покачала с возмущением головой и пошла в дом, не закрыв за собою дверь.

— Так мне заходить? Или нельзя? — с отчаяньем в спину ей воскликнула Проня.

— Заходи уж, — буркнула Евдокия и загремела у печки посудой.

Две старухи жили долго, уже так долго, что порой им обоим казалось, что жизнь бесконечна и что не было у нее начала. А порой им казалось, что был всего один день этой жизни, который вот-вот закончится черной ночью.

В том дне, как в легком утреннем сне, промелькнуло детство. И оно, уже почти забытое, изредка освещало память яркими, радостными картинками. Картинки путались, и оттого, что старухи много лет делились ими, им казалось, что обоим снился один и тот же сон, а может быть, и всем людям снится все одинаково быстрое.

И снится им жаркий, солнечный полдень, в котором плавилась и кипела надеждой и плавилась от тяжелой работы молодость. От нее-то и остались детки-ребятишки: у Прони — двое, у Евдокии — шестеро.

Потом опалила всех нещадными лучами война, выжгла дотла деревню, отняла мужей и братьев. От пронизывающих насмерть лучей этих прятались подружки вместе с оравой своих ребятишек в землянке, вырытой в лесу недалеко от деревни. Там и перебеदывали, перемучились и вышли на свет, чтобы до самого позднего вечера жизни вкалывать, не зная ни покоя, ни продыха. Растили подружки своих детей, строили избушки, сараюшки да баньки, пахали на себе тяжелую, усталую, сырую от пота, слез и крови землю и вот остались одни.

Дети разлетелись кто куда, и наступил старый долгий вечер. Такой долгий, что иногда хотелось глянуть на невидимые часы — когда же будет ночь?

Но часы такие либо потерялись, либо отвернулись от старух, и невозможно было разглядеть, где находятся стрелки. Может быть, это уже была сама ночь, и потому обе они так часто вздрагивали от мысли о том, что вот-вот уже наступит новое утро, а им, бессонным, так и не удастся уснуть...

Проня уселась на стул, широко расставив тяжелые, большие ноги и устроив на гладкой ручке своей палки крупные ладони, медленно положила на них подбородок, исподлобья глянула на Евдокию.

— Молчать пришла? — спросила Душа.

— Да, буду молчать, — кивнула Проня смиренно.

— Так ведь тебе ж не смолчать, — усмехнулась Душа.

— Да, не смолчать, — согласилась Проня.

— Ты каждый раз обещаешь, а все не стерпеть.

— Сегодня слова не скажу. Только зевать буду. Давай позеваем?

Проня сладко, широко зевнула, перекрестила рот и снова устроила подбородок на ладонях.

— Вот, Душенька, и что такая мода взята у людей — жить да жить. И на что она, такая мода? Кто ее придумал? Неужто Бог?

Она виновато улыбнулась, моргнула несколько раз голубыми глазками и тяжело вздохнула.

— Люди добрые пожилы-пожили да и отправились восвояси, а нам с тобой все не прибраться, будто мы хуже других...

— Опять? — сердито загремела кружками Евдокия. — Завела шарманку?

— Ах, тошно мое лихо! Молчу! Молчу! — спохватилась Проня и хлопнула себя ладошкой по рту.

— Я тебя прогоню! — пригрозила Душа. — Не позволю в своей избе Бога гневить.

— Молчу, молчу, — прошептала Проня, она выпрямила спину, высоко задрала подбородок и замерла.

— Вот так и сиди, — согласилась Душа, — а я тебе письмо почитаю. Мишенька, сынок, прислал. На днях получила.

Душа сняла с печи чайник, подготовила чашки и, сев за стол, развернула помятый, зачитанный листок.

— Дорогая моя мамушка, здравствуй! — прочитала она по слогам. — С горячим приветом и наилучшими пожеланиями счастья и здоровья...

Проня усмехнулась.

— Чего? — зыркнула из-под очков на подругу Душа.

Проня сидела, как каменная, еле сдерживая улыбку, крепко сжимая беззубый рот.

— ... и сын твой Миша, и жена моя Галя, и детки наши, Света, Митя...

— Проня помотала головой, словно удивляясь, откуда у Миши дети.

— Чего?! — с вызовом спросила Душа, но подруга не ответила.

— Ладно, слушай. В первых строках своего письма сообщаю, что мы все живы и здоровы, чего и вам желаем, мама.

Проня потерла нос, громко шмыгнула и снова печально положила подбородок на руки.

— Что тебе все не так? — возмутилась Душа. — Нейдется?

— Читай, читай, — махнула пальцами Проня.

— Там дальше тебе неинтересно. И тебя не касается.

Душа аккуратно свернула листок и отложила в сторону.

— Там про жизнь ихнюю, про работу да про учебу. Все хорошо у них, и слава Богу.

— Неинтересно, — кивнула Проня.

— А почему ж тебе неинтересно? — спросила Душа.

— А потому что письмо старое! Читаное сто раз и перечитанное! — ляпнула Проня и, охнув, зажала свой рот ладошкой.

Душа вытянулась, как палка, лицо ее стало красным и суровым, пальцы нервно затеребили уголки темного домашнего передника. Она долго сопела, но ничего не сказала подруге.

— Чай-то пить будем? — робко напомнила Проня и подвинула к подруге раскрытую пачку с заваркой. — Заварить надо.

Проня поднялась со стула, приставила к стене палку и засуетилась у стола, изредка косясь на неподвижную подругу.

— С булкой будем или с хлебом?

— Блины пекла, — ответила Душа.

Пока чайник закипал, Проня сидела, изредка позевывая, уставившись задумчиво в одну точку, будто была не в гостях у подруги, а на вокзале, где ждала запоздавшего поезда.

Не выдерживая сладких, протяжных зевков, Душа тоже зевала в ответ, но старалась удержать приставучую зевоту, зажимала рот и проглатывала вырывающееся завывание.

— Фу ты, напасть какая. Брось сразу же зевать, Прощка!

Вместо ответа Проня зевала еще слаще и вытирала кончиком платка выступавшие на глазах слезки, отчего ее голубые глаза становились еще ярче и веселее.

— Чего еще делать? Давай уж позеваем, — сказала она и снова зевнула.

Душа тоже сладко зевнула. Закрыв рот, поспешно перекрестила его, тоже вытерла мелкие слезинки и стала заваривать чай.

— Не буду зевать, — недовольно отмахнулась Душа, — некогда зевать. Порядок надо наводить. Завтра Мишенька приедет.

Глазки у Прони округлились. Созревший и готовый вырваться наружу зевок пропал. Проня взволнованно поправила свой платок на голове.

— Ну, рассказывай! Рассказывай, я молчать буду.

Душа подвинула ей поближе чашку с чаем, степенно села на стул и вдруг закинула ногу на ногу.

Проня озадаченно посмотрела на худую ногу подруги в стоптанном войлочном башмаке, потом на гордое Душино лицо и скривила губы.

— А чего это ты так села... как расшолопа...

— А не дала ты мне письмо дочитать, да зря. В том письме было написано сообщение, что едет мой младшенький сынок в гости.

Она сделала многозначительную паузу и выразительно посмотрела на Проню. Та терпеливо молчала.

— И еще пишет мне мой сынок Мишенька, мол, собираемся, мама, мы вас отсюда к себе на Украину забрать. И вот нынче я уже перебирала сундуки, а завтра буду вязать узлы. Засиделась я с тобой, поеду в Донбасс. Погляжу хоть на этот каменный уголь, за которым люди под землю лазят.

Пронины глазки до краев вмиг наполнились слезами и беспомощно, часто замигали. Нижняя губа задрожала и оттопырилась, как у обиженной девочки.

— Вот так-то, подруженька, — довольно вздохнула Душа. — И живи ты тут теперь одна, и зевай сколько хочешь, потому что мне тут уже надоело с тобой воевать.

— И огород нынче сажать не будешь? — спросила Проня.

— Не буду! — махнула рукой Душа. — Гори оно все ясным пламенем. Надоело!

— Зарастет... Быстро березняк захватит... Надо бы посадить или хоть запахать...

— Дом пропадет...

— Пусть!

Душа встала из-за стола, подошла к вешалке и стала разглядывать свои паль-
тухи: какую бы взять на Украину?

Проня незаметно смахнула слезы.

— Я бы лучше к старшему, к Васе поехала. Тут и поближе, и дом можно навещать, и на своей земле все же. А то — Украина! Ближний свет... И чего я там не видала?

Душа сняла с крючка плюшевую шубу и положила на кровать.

— Так едь к Васе... — предложила Проня.

— У Мишки условия лучше. Там буду как королева по хоромам прогуливаться.

Проня часто, прерывисто задышала и вдруг не выдержала:

— А как же я?!

— Что мне об тебе голову ломать? Езжай к своим ребятам. Сколько можно зимвать тут? Сил-то ведь уже нету!

— Так ить... не берут... — тихо прошептала Проня и опустила голову.

— Не берут... — передразнила Душа. — Кто ж тебя возьмет, такую бузу... Не берут ее... Правильно и делают!

Душа вдруг запнулась на полуслове, взяла с кровати плюшевую шубу, повесила ее назад на крючок и снова села к столу.

Она пододвинула к себе картонную коробку с таблетками, сосредоточенно порылась в ней, потом отшелушила на ладонь несколько разноцветных горошин и проглотила их, не запивая.

Проня сидела, низко опустив голову на грудь и неслышно плакала. Руки ее перебирали на коленях плотную темную ткань широкой юбки и слабо подрагивали.

Темнело. Сквозь треснутое стекло было видно, как вечер, словно чья-то огромная тень, нависает над дальним лесом, над желтоватым от прошлогодней некошенной травы лугом. Кусты ивняка, готовые вот-вот зазеленеть, подернутые легким предчувствием зеленого цвета, почернели и, как щетина, топорщились по краю луга, в ложбине.

Душа тяжело вздохнула, задернула занавеску и по привычке потянулась рукой к выключателю. Потом досадливо поморщилась и сняла со стены керосиновую лампу. В деревне уже неделю не было света.

— Не наберешься керосину, — забурчала она, чиркнув спичкой, зажгла фитиль и пристроила пузатое прокоптелое стекло на место.

Проня молча перебирала пальцами ткань юбки.

— Ладно тебе, — сказал Душа. — Может, меня никто и не заберет. Может, он и не придет. Может, и придет. Чего ты нюни распустила? Война ведь на Украине, не слыхала, что ли?

— Слыхала... Да ты ведь войны не побоишься, знаю тебя...

Проня шмыгнула носом и вытерла кулаком глаза.

— Уж такая стала нежная, такая обидчивая, что и слова ей не скажи. Может, им бы лучше сюда, может, вернутся... — сказала Душа.

Она подперла щеку рукой и, глядя на огонь, мирно горящий в тонком стекле, вздохнула:

— Как-то он там под землей работает? В такую страсть каждый день лазит. Меня б если туда загнали, — померла бы. И зачем он поехал на этот уголь? Нашто ему та Украина? Здесь вон сколько земли пропадает...

Проня подняла голову, поправила платок, засопела, засопела и вдруг торопливо заговорила:

— А ты сама и виновата! Это ты Мишеньку туда отправила! Все тебе денег мало. Все ребята по земле ходят, а Мишеньку под землю загнала. И теперь жалеет! А теперь их еще и бомбят там!

— Я?! — оторопела Душа.

— А кто?

Проня прямо посмотрела в глаза подруге и охнула:

— Я опять не смолчала...

Душа медленно поднялась из-за стола.

— Уходи вон, — велела она подруге. — Вон из моего дома!

— А и уйду. Как хошь! — с вызовом ответила Проня. — Тут уж мне не смолчать было. И не сдержалась. Получай правду.

— Уходи, и что б ноги твоей больше у меня не было!

Душа топнула мягким обрезанным валенком и хлопнула ладонью по столу.

— А! Ну и ладно! — воскликнула Проня. — И пойду! Только и ты ко мне тогда не ходи!

— Не приду!

— Ну и я не приду больше!

— И не надо!

Проня тяжело поднялась со стула и, опираясь на свою палку, зашаркала к двери.

— Стой, давай посвечу тебе, а то повалишься на крыльцах.

— Обойдусь.

Душа вынесла в сени керосиновую лампу и, подняв ее повыше, постояла, подождала, пока подруга не спустилась по ступенькам.

— Дойдешь? Ай провести?

— Уж не попрошу...

Горела трава. Фиолетовое с отблесками уходящего заката небо придавало огню веселую яркость, и потому казалось, что огонь исполняет важную работу, сжигая прошлогоднюю сухую траву, как густую вредную паутину, освобождая землю для новых, готовых к жизни ростков и побегов.

Казалось, огонь спешит, торопится, будто где-то за лесом притаилась большая, полная ливня туча и, тяжело, напряженно дыша, поглядывает заплывшими, сонными глазами из-за темных, густых елей в ожидании чьей-то команды, чтобы,

внезапно оттолкнувшись от земли упругим резиновым брюхом, подскочить над лесом и, быстро раздуваясь, захватить все небо, вобрав, втянув в себя фиолетовый с розовыми отблесками цвет заката. Толстая туча хотела бы нависнуть над торопливым огнем, пристально и насмешливо наблюдая за его последними усилиями, а потом пролиться сплошным, кратким потоком и погасить огонь.

Казалось, что за пригорком в зеленоватых, трескучих кустах прилег, при moistился усталый ветер, сложив свои невидимые крылья на гибкие голые ветки, отчего они чуть пригнулись и едва заметно покачивались.

Если толстая туча оттолкнется от земли, спящий ветер вздрогнет, зашевелится, потягиваясь своим невидимым телом, расправляя свои огромные шелестящие крылья, и тогда кусты, испуганно шурша, пригнутся еще ниже.

Потом ветер развернет крылья, плавно, легко взмахнет ими несколько раз для разминки, привстанет на тонких, высоких ножках и, залихватски ухнув, пойдет кружить, как юла, разметая все вокруг поднявшимися ввысь вместе с подолом пышной темной юбки леса — всеильными и властными своими крыльями.

И тогда огонь, подмигнув ветру, похваливая его танец, разгорится ярче и побежит торопливо, взახлеб, кувырком во все стороны, ловко перепрыгивая бесчисленными искрами от сухой травинки к прозрачному листику, от тонкой былинки к хрупкой веточке, и в мгновение ока достигнет кустов, где только отдыхал ветер, а потом добежит до леса, где недавно спала туча...

Но ни ветер, ни туча не вмешивались в дела огня, и потому это все только казалось.

Фиолетовое небо быстро растворяло розовые отблески заката. Цвет сгущался, темнел от поднимавшегося в небе дыма. Огонь становился все ярче, сильнее. Он поглощал не только сухую оболочку земли, но и яркие краски вокруг. Темнота помогала ему и замазывала чернотой очертания острых макушек елей, округлые бока пригорков, лохматую, колючую щетину зарослей ивняка.

Темнота служила огню, и потому с каждой минутой он становился опаснее и злее. Уже не было в сверкании язычков пламени прежнего веселья и робости. Уже ясно было, что огонь в себе уверен, он знает свою силу и не остановится ни за что и никогда. Не отступит, пока не выжжет все вокруг дотла, пока не наестся, не насытится жизнью и смертью, пока не выплеснет ярким, нестерпимым светом вспыхнувшую и разрастающуюся в нем властную силу.

— Душенька! Душа! — прошептала Проня.

Она завороженно смотрела, как ползет по пригорку светящаяся полоса. Медленно, ровно, уверенно, будто стройная шеренга молчаливых инородных солдат, огонь шел на деревню.

Проня растерянно глянула по сторонам. Заколоченные, брошенные дома в зарослях сухого прошлогоднего бурьяна вспыхнут, как свечки. Неухоженные, заросшие сады, в которых больше половины деревьев были мертвыми, тоже сгорят. Остаются только два живых дома — ее и Душин, — но и им будет не уцелеть в неминуемом пожаре.

— Горим!!! Ка-ра-ул!!! Го-рим!!! — завопила Проня и, тяжело развернувшись, пошла к Душиной калитке. Ноги ее, старые, толстые и непослушные, не поспевали за телом и тяжело волочились.

Проня, цепляясь руками за штaketник, помогала им не отставать. Она оглянулась назад, и на какой-то миг ей показалось, что огонь уже совсем рядом, что

вот он — возле лица, тянется к ней жалящими острыми язычками, а в небе из-за клубов дыма выглядывает чье-то черное, безглазое лицо.

— Смерть пришла, — прошептала Проня.

Ужас охватил ее. Руки мигом ослабли, отпустили сухие, шершавые жерди забора, больные ноги обмякли, и Проня села на землю, не отрывая взгляда от неба, где в клубах дыма расплывались очертания страшной головы.

— Ка-ра-ул!!! Ка-ра-ул!!! — орала Проня.

Она встала на четвереньки и поползла в дверям веранды.

— Душа! Караул! Горим! — кричала она тонким и пискляво, как будто пела, без страха и ужаса в голосе, будто песня была детским плачем.

— Гориинииим! Душа! Гориинииим!

Душа выскочила из дома, глянула на ползущую Проню и, не сходя со ступеньки, оглядела внимательно даль. Прищурила глаза, отчего лицо ее стало жестким, как у старика. Она вглядывалась в полоску огня, которая уже наполовину прошла дальний пригорок потоком лавы, покрыв его черным пеплом, и приближалась к некошеному лугу, который вдоль реки окружал деревню.

— Полчаса нам с тобой на все. Вставай, — сказала она Проне тихо.

— Ох, тошно мое лихо, — пела Проня, — смертушка пришла за нами! Накликала, дура, накликала, дура...

— От силы минут сорок, — сказала Душа.

Она скрылась за дверью и через несколько секунд, пока Проня безуспешно пыталась подняться с земли, вернулась с двумя пустыми ведрами, бутылкой керосина и спичками.

— Мало керосину. У тебя есть керосин?

— В сенях на лавке канистра.

— Я сейчас.

Душа бегом побежала к Прониному дому и через несколько минут вернулась с канистрой.

— Что ты лежишь? Иди за водой!

— Лежу... Ты беги отсюда, беги к лесу. Он ведь по кругу сейчас все охватит. По лугу... А мне не сойти.

— К реке его направим. А река сама разберется.

Душа, загремев колодезной цепью, набрала воду в ведра и снова побежала в дом. Она вынесла оттуда два пышных новых веника и рваную шерстяную кофту.

— Не будешь вставать? Не слушаются ноги?

— Нет... — сказала Проня.

— Ползи тогда за мной.

Она сунула веники и кофту под мышки, взяла ведра и быстрым шагом пошла от дома к лугу.

— Куда ты, Душа? — с отчаяньем закричала Проня. — В лес иди, в лес!

Душа ничего не ответила, не оглянулась, лишь прибавила шагу и через минуту остановилась возле одинокой березы, что росла в конце Прониного огорода, за которым начинался луг.

Поставив на землю ведро с водой и бросив рядом веники и кофту, Душа побежала назад.

— Быстрее, — бросила она, пробегая мимо ползущей на четвереньках к березе Проне.

Пока та, плача и причитая, путаясь в подоле длинной юбки, ползла к березе, Душа принесла от дома второе ведро с водой, бутылку с керосином и спички.

— Сейчас ему встречный огонь направим, — сказала сухо.

— Опасно... Не сумеем... Сами подпалим деревню, — покачала головой Проня.

— Не сумеем, так сторим. А не сторим, так выживем. Мочи веники в воде.

— Я лучше кофтой, — сказала Проня и, сидя возле ведра, стала погружать в воду тяжелую вязаную кофту. Шерсть всасывала воду, будто век не пила и вот, наконец, дождалась избавления от жажды. Ведро наполовину опустело. Два пустых, лохматых веника опустошили его до дна.

Вдали чернел пригорок. Его кромка уже была едва различима и почти сливалась с фиолетовым небом. Полоса огня пропала, только яркие отсветы из ложбины говорили о том, что огонь набирает силу, поднимается исподтишка к лугу и, готовясь к наступлению на него, до предела распалил свою ярость.

— Зажигай, — сурово командовала Проня и вылила на себя полведра воды.

Душа остро глянула на тяжелое, мокрое полотнище Прониной юбки, жадно охватившее ее больные колени.

— Ты кофтой туши. Не пускай его через межу, — сказала она и, раскрыв бутылку с керосином, медленно, крепко прижимая персты к плечам, перекрестилась.

Проня, стоя на коленях, упершись лбом в землю, тоже читала молитву.

— А как Бог даст, — вдруг задорно сказала она и стала вставать на ноги. — Лей, Душа! Лей!

Тонкая струйка керосина, наполняя воздух едким, пронзительным запахом, будто очищающая вода, полилась на землю. Пролив полосу метров десять, Душа зажгла спичку и бросила ее в темноту. Керосин подхватил спичку почти на лету, и яркая вспышка в одно мгновение превратилась в длинную огненную змею. Развернувшись вдоль межи, тонкая огненная змейка на сухой траве стала быстро толстеть, разрастаться в обе стороны, превращаясь в удава, затем в огромное бревно, затем в ручей...

— Держи его, держи! — крикнула Проня и, снова свалившись на колени, поползла вдоль горячей змеи, с уханьем захлопала ее по боку тяжелой мокрой кофтой. — Бей его, бей!

Душа подхватила мокрый веник и стала с силой хлопать им по горячей траве, не пуская огонь в сторону деревни. Растерянные язычки пламени, не успев насладиться хрустящим пряным сухостоем, погибали под ударами, а огонь пополз навстречу другому огню.

— Топчи его! — кричала Проня, ползя по огню мокрыми коленями и опираясь на кофту, будто мыла ею полы. — Лей дальше, Душа!

Душа схватила бутылку с керосином и побежала вдоль межи дальше, оставляя за собой тонкий, едкий след, по которому, как бешеная собака, летел за ней, загораюсь сам по себе, огонь.

— Стой! Хватит! Не поспею! — кричала ей вдогонку Проня.

Душа остановилась, подождала, пока огонь разрастется в обе стороны и принялась жестоко топтать его ногами, бить мокрым веником, не пуская на межу.

— Эх, так-растак, рас-так-сяк! — доносилось из клубов дыма. — Куда? Стой, фашист! Стой, гад! — орала Проня.

Душа, в жизни не слышавшая от подруги бранных слов, даже замерла на мгновение, но тут же, спохватившись, еще сильнее и отчаяннее принялась топтать огонь.

— Дальше, Душа, дальше! Огонь, Душа, огонь!

Душа, задыхаясь от дыма, прижав бутылку с керосином к груди, побежала вперед. Керосина оставалось немного, и потому она стала лить его экономнее, только на небольших отрезках земли, оставляя промежутки в расчете на то, что уходящий вперед огонь потом соединит свои силы сам.

— Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! — орала во все горло Проня.

Голос ее показался далеким, и Душа, испугавшись неясных мыслей, бросилась назад к подруге.

— Проня!

— Огонь! Душа, огонь! — командовала из клубов дыма Проня. — Врагу не сдается наш гордый «Варяг»!

— Проня! — крикнула с отчаянием Душа. — Ты поспеваешь, Пронюшка?!

— Пощади никто не желает... Вот тебе! Вот тебе! — донеслось вместо ответа.

Шепча пересохшими губами что-то самой себе неясное, Душа то принималась бить и топтать огонь, то, схватив бутылку, бежала дальше, то возвращалась, клича подругу, то снова бежала, угорев от дыма и обезумев от полной утраты чувства времени. В какой-то момент ей показалось, что она все сделала неправильно, и огонь вместо того, чтобы пойти в ложбину, повернул на деревню.

— Пали! Пли! Прицел из всех орудий! — орала Проня, ползая по горящей земле.

— Что ты орешь? Огонь не туда пошел! Не туда пошел...

— Пли! Душа, огонь! — отчаянно орала та.

И Душа снова бежала по краю деревни, плеща керосином в темноту, множа и укрепляя страшную и плохо управляемую армию встречного огня.

Когда керосин закончился, Душа была уже далеко от березы. Встречный огонь действительно пошел косо. Его левый край убежал далеко вперед, а от ног Души спешил, торопился догнать передовые силы отстающий правый фланг.

Навстречу из ложбины молча поднимался враг. Расстояние между ними быстро сокращалось. Луг с некошеной сухой травой горел ярко, радостно, будто всю зиму мечтал освободиться от старой ненужной травы.

Душа огляделась по сторонам. Часть огня все же прорвалась через межу, но трава там была прошлым летом скошена, и потому этот огонь одиноко и недовольно поедал жухлые травинки, готовый погаснуть от первого удара веником.

Веник высох и обгорел. Он уже не гасил, не убивал огонь, а лишь высекал из него многочисленные искры, которые беспомощно разлетались в разные стороны и оседали на земле серыми пылинками.

Душа прислушалась. Прониного голоса не было слышно. Никто не пел, не кричал.

— Проня! — позвала она.

Торопливо топча на ходу слабые, обреченные огоньки, Душа поспешила к подруге, не переставая звать ее. В тишине слышались неясные, незнакомые звуки, будто какой-то большой зверь ворочался в темноте на сухой соломе и никак не мог встать.

Сорвав с головы платок, Душа крепко вытерла им лицо, глаза и, зажав платок в кулаке, побежала в темноту на этот шорох.

Проня лежала на обгоревшей земле и, медленно переворачиваясь с боку на бок, катилась, как большое тяжелое бревно, вдоль кромки огня, придавливая его своим мокрым телом и гася.

Встречный огонь, ушедший далеко вперед по густому сухостою, унес с собой все силы, а оставшиеся огоньки, что не решились на битву, уже были беспомощны и слабы, но Проня все равно катилась по полю, давя их своим телом.

Одежда на ней обгорела, длинные, седые, растрепанные волосы волочились следом, собирая сор и пепел, но почему-то не загорались, будто были серебряными.

— Пронюшка! — прошептала Душа и осела на землю.

— О-о-ох... — отозвалась Проня.

Фиолетовое небо потемнело и стало совсем черным. Там, где не властвовал, не будоражил темноту огонь, проступали робкие звезды. Они растерянно, виновато мигали, будто извиняясь за свое позднее появление и беспомощность.

— Смотри, Проня, — прошептала Душа, глядя на середину луга. — Вот сейчас они встретятся и погасят друг друга.

— О-о-ох, — отозвалась Проня.

— Вот чего мы с тобой учудили, глянь, какая будет битва, — замороженно глядя на наступающие друг на друга во тьме две полосы огня, прошептала Душа.

— Детушки наши приедут и похвалят нас с тобой. Скажут, молодцы наши мамки, дома сохранили. Как без домов-то... Куда ж им — на пепелище....

Душа, держась за сердце, привстала с земли.

Два огня рвались друг к другу, жадно пожирая все на своем пути, трепеща и замирая и снова летя вперед, взвиваясь вверх в нетерпеливом предчувствии смертельной схватки.

Клин встречного огня почти выровнялся, правый фланг из-за сухой осоки, росшей по краю луга, догнал передовые ряды, и две почти прямые линии шли медленно и неотвратно навстречу друг другу.

Когда расстояние между ними сократилось, оба огня, будто растерявшись, сбавили скорость. Душе даже показалось, что они решили погаснуть, не дойдя друг до друга, что, почувствовав жар друг друга, они испугались смерти.

Душе показалось даже, что огни имеют разум и все понимают. Сквозь пламя встречного огня она видела, как трепещут, не продвигаясь вперед косматые живые существа непрошеного войска, пришедшего из ложбины. Будто раздумывая, не повернуть ли назад, они пригибались к земле.

— Ну уж нет, — прошептала Душа. — Давай, давай... Давай! Вперед!

Встречный огонь, будто услышав ее шепот, взвился и помчался навстречу противнику, неумолимо и яростно пожирая сухой травостой.

Битва была короткой. Оба огня схлестнулись в одно жаркое высокое пламя. Они впились друг в друга всей пронзительной мощью стихии, безмолвно взвились высоко вверх, взвиваясь от муки, объединив две силы, две злости, две ярости и на несколько мгновений став дважды мощными, впитали, поглотили друг друга и мгновенно растаяли, оставив властвовать над пепелищем густую, тяжелую темноту.

Длинная, горячая змея, жарко вспыхнув, выдохнула жизнь из своего тела и растворилась без следа. На лугу остались лишь тленные останки ее некогда прекрасного, сверкающего, мощного существа, которые тускло мерцали последними искрами.

— Все, — прошептала Душа. — Вот как все быстро...

Она крепко, до слез зажмурилась и с силой стала растирать кулаком грудь.

— Таблеток не взяла... худо мне... Проня...

— Встретились? — пролепетала Проня.

— Погасили друг друга. Все...

Душа поморщилась от боли и осторожно легла рядом с подругой.

— Мишенька-то приедет? — спросила слабо Проня.

Душа, судорожно дыша, ничего не ответила.

— Не обманула ты меня, что он завтра приедет? Всегда меня обманываешь...

— Погоди, Пронюшка, сейчас я, сердце захолонуло... захолонуло... Сейчас.

— Наврала, поди...

— Наврала... Разбомбили дом их в Горловке. Все погибли, один правнучек остался, Денис... Старые я тебе письма читаю...

— Что ты говоришь такое, Душа?! — пролепетала Проня.

— Не хотела горем своим делиться. А теперь уже все одно: оно у всех — общее...

Небо, густое и мутное, смотрело подслеповатыми звездами, взглядом равнодушно пронзая старух насквозь и проходя сквозь них в черную угольную глубину земли.

БЫВШАЯ СТРАНА

За чаем соседка бабка Маша вдруг всполохнется, сунет ноги в валенки, выскочит во двор, полезет по глубокому сугробу к вишняку, сорвет хрусткую морозную веточку, и — назад. В доме веточка станет гибкой. Чай густой, коричневый, томный, ароматный, как целое ведро спелой вишни — будут пить они с бабкой в потемках, экономя электричество...

— Да ты садись лучше на переднее сиденье, а то он тебя съест, — вместо приветствия зевнул Валек.

На сиденье лежал огромный боксер. Он вежливо приподнялся, перебирая лапами, и тоже зевнул.

— Он добрый, но съест. Порода такая.

— Надень ему намордник.

— Он не любит в наморднике, плачет.

— А если он тебе голову откусит? Или мне... Бобик, ты не откусишь мне голову? — спросил Олег, усаживаясь на заднем сиденье рядом с собакой.

— Не оскорбляй, он не Бобик, а Барон.

— А почему от него керосином пахнет?

— Спутал пузырьки. Лапу ему обрабатывал. Деверь у меня летчик. Привез жене авиационного керосину — от ангины помогает, а я думал, это перекись.

— Ну ты даешь... Керосин на рану...

Боксер повернулся к Олегу и жалостно заскулил, забормотал что-то, потом помотал головой, брыли щек затряслись, слюна полетела по сторонам, и он чихнул.

— Ну, вот еще пожалуйся у меня! — воскликнул Валек. — Нашел защитника! Доложи ему все! Предатель...

Собака забубнила что-то, стала подвывать.

— Стукач! Молчи уж, а то сам машину поведешь! А сам? Где лапу поранил? На помойку за сучкой побежал! Позорище...

Бобик резко умолк и отвернулся к окну.

Валек нервно включил зажигание и рванул вперед.

— Ты чего такой злой? — спросил Олег.

— Устал. Надо еще Аркашу забрать, — буркнул Валек. — Он телевизор купил.

Аркаша тоже был их одноклассником. Он ввалился в салон, как в открытый тротуарный люк. Огромный, но легкий, весь как резиновый фантастический глаз с телевизором вместо зрачка.

— Почему без коробки?! — завопил Валек.

— Не до коробки, не до коробки, Валентин, поехали, — сказал Аркаша, вминая свое крупное тело в сиденье и накрывая живот и широкое лицо плоским телеэкраном.

— Не, ну так не пойдет, — откинулся Валек. — Ты мне будешь мешать скорости переключать.

— Не буду, не буду, Валя, — забормотал Аркаша, старательно отодвигаясь к окну.

— Е-мое! — завопил Валек, Барон громко зарычал.

— Е-мое... — вздохнул Олег и пожалел, что не поехал поездом.

— Валентин, поехали, не волнуйся так. Мне уже не вылезти, — сказал Аркаша.

Олег вылез из машины, пошел в ближайший магазин и купил там несколько коробок. Они с Вальком уложили телевизор в багажник, запеленав его картоном со всех сторон, как новорожденного монстра, и молча сели в машину.

Настроение было испорчено. Разговаривать с Аркашей никто не хотел, и потому он говорил всю дорогу один. Изредка Барон поскуливал из вежливости, но Валек все равно молчал — в воспитательных целях.

В школьные годы Аркадий сидел на задней парте и мало чем отличался от других троечников. Каждый урок обществоведения высокая, статная и кривоногая Валерия Витальевна, по прозвищу Кавалерия, начинала с повторения морального кодекса строителя коммунизма. Почему-то первым она всегда вызывала Аркадия, но каждый раз он надеялся, что Кавалерия одумается и вызовет перечислять двенадцать пунктов кого-нибудь другого. Но Кавалерия была верна своим традициям и, как только начинался урок, провозглашала:

— Итак! Внимание! Повторим моральный кодекс строителя коммунизма. Если бы я выпускала спички, я бы на каждом спичечном коробке вместо глупых рисунков публиковала этот закон мира. Аркадий! Внимание!

То ли ей нравилось имя, то ли потому что имя начиналось на «А» — первую букву алфавита...

— Я забыл, — вздыхал Аркадий.

— Неудивительно. Я так и знала. Садись и повторяй. Все ждем Аркадия!

В классе возникала большая тишина, Аркадий пыхтел, сопел, потом вставал и начинал мямлить о том, каким обязан быть строитель коммунизма. До четвертого пункта он никогда не доходил, Кавалерия начинала злиться, злиться, злиться, краснеть, краснеть, краснеть и наконец, махнув большими пальцами в сторону отличницы Наташи, грузно усаживалась на свой стул и роняла голову в широкие ладони.

Наташа бойко тараторила текст кодекса, после чего Кавалерия продолжала урок. К концу года, когда подходила пора исправлять двойки, каждый желал рассказать ей моральный кодекс и был готов строить коммунизм. Только угрюмый Аркадий огрызался:

— Надоел мне этот кодекс, что толку учить? Не будет никакого коммунизма.

Аркадия оставили на второй год как политически неграмотного и неблагонадежного, но их класс не перестал считать Аркашу своим.

— Тридцать лет прошло, а все как вчера, бардак полный, — горько вздыхал постаревший Аркадий. — Лучше б я в свое время не выставлялся, не бодался с Кавалерией, а получил бы хороший аттестат — уже в Кремле сидел бы. А так вот вожу телевизоры.

— Сидел бы, это точно, — кивнул Валек.

— Да лучше телевизор привезти, чем деньги. Если Кате моей вечером деньги дать, их утром не будет. Так хоть телевизор останется.

— А старый куда?

— Старый я разбил. В порыве речи. Разговаривал с ним.

— Куда ж твоя Катя по ночам деньги деваает?

— Прячет. На море хочет поехать, копит.

— Разбаловал.

— Уже тридцать лет хочет. В Персидский залив. Во, блин, там американские корабли и подводные лодки, а она не боится.

— Так может, лучше на Черное? — предложил Валек.

— На Черное еще хуже. У него исторически дурная репутация. Море у нас есть свое — рядом с огородом, возле бани в кадке с водой, а загорать на грядах можно. Свой загар полезный, а на юге радиация. Я жену берегу.

Олег смотрел в окно, на летящие отчаянно и смело прямо в лоб машине хлопья снега. Сбоку доверчиво прижимался горячий Барон, всхлипывая во сне, как маленький щенок.

Аркадий горевал о судьбе страны и постепенно вводил в полное уныние Валька, а Олег смотрел, не отрываясь, на летящие прямо в глаза хлопья белого снега, и они казались ему миллиардами сорвавшихся со своих орбит планет, которые вдруг разом потеряли равновесие, нарушили какой-то общий закон и были изгнаны с неба. Будто возмущенный космос взорвался, и звезды полетели в разные стороны, превращаясь в полете в полупрозрачные снежные хлопья, которые рванулись жалить его глаза, сердце, душу, и только тонкое прозрачное лобовое стекло — незримое препятствие — помешало этой яростной армии исколоть, заморозить его и не пустить на вечер встречи выпускников.

Олег крепко потер рукой лоб, возвращаясь из космического пространства в машину. Глупо это — ехать на северный край земли, где уже никто тебя не ждет, где нет ни дома, ни родителей, где соседи не узнают при встрече, а одноклассники не примут и не поймут. Зачем он согласился на поездку?

Валек кого хочешь уговорит.

— Красивая стала женщина. Приезжает иногда. Мне боязно подойти, не решаюсь спросить, мол, как вы поживаете? Я ж с ней не разговаривал никогда. А ты? И все. И этого было достаточно, чтобы Олег оказался у Валька в машине.

Барон чихнул, завертелся, видно, что-то ему приснилось.

— Чего? — заволновался Валек. — Барон! Гулять?

Барон промолчал.

— Ну ладно тогда, извиняюсь, — кивнул Валек.

Олег откинулся на сиденье и снова уперся взглядом в снежную атаку. Вот так, наверное, когда он умрет, душа его помчится среди звезд туда, где за хаосом и неразберихой таится вечный свет, тихая радость и сладкий покой. А страшно будет лететь одному! Сейчас их хотя бы трое...

Барон заскреб лапой и сердито уперся головой в бок Олега.

Да, не трое их, а четверо. Собака — тоже живое существо, лучше многих людей. Как Майка, его лошадь. Ух, и строптивая была, так долго он ее приручал к себе и приручил все же.

Олег вспомнил, как зимой ехал в телеге, накрывшись старым тулупом, вез сено из соседнего колхоза коровам. Светила круглая луна, падал тяжелыми хлопьями снег. Он не долетал до сена, отчего-то снова взлетал к небу и приземлялся в темноте позади телеги. И казалось, что они с Майкой движутся по свободному пространству, а мир расступается, освобождая им дорогу.

Летом, когда был сильный ветер и облака неслись в свете луны тучными серыми тенями, Олегу, лежащему на деревянных ящиках в телеге, казалось, что это не облака движутся, а звезды летят навстречу ему и Майке, что земля сорвалась со своей оси и мчится вместе со всем своим добром и злом навстречу золотым россыпям.

И только крепкий, круглый Майкин зад с черным, длинным хвостом, возвращал его из головокружительного полета на землю, восстанавливал рухнувшую систему координат. Майка, как точка отсчета мира, расставляла все по местам.

И тогда земля становилась незыблемой, звезды неподвижными, а облака приближались и прижимались к Олегу так крепко, что он касался их ладонью, чуть отталкивал, как мячики, и облегченно вздыхал, радуясь возвращению.

— Так, ну хватит, — сказал Олег сам себе, выпрямляясь на сиденье, отрывая взгляд от снега и черной ночи, возвращаясь к друзьям. — Ты где работаешь сейчас, Аркадий?

— Да в Кремле.

— В каком Кремле?

— В красном.

— А что ты там делаешь?

— Поправки к законам пишу.

Валек заерзал на сиденье.

— Да он ремонтом квартир занимается. Олег, он битый час говорит про эти квартиры. Ты где был?

Предприятия в городе закрыты, заводы остановлены: и маслозавод, и льнозавод, и консервный, и ниточная фабрика. Он ездит на заработки в город.

— Поправки пишу! — уперся Аркаша. — В моральный кодекс строителя коммунизма.

— Ладно тебе, — цыкнул на него Валек. — Чего дуришь?

— А Степаниха жива? — спросил Олег невпопад.

— Померла той весной. Огород посадила, баню стопила, помылась, нарядилась, легла и померла.

— А конь-то ее жив? Хасан?

— Вспомнил! Коню сто годов было, он три войны прошел. Помер и конь.

Олег заволновался, потом все же спросил:

— А Майка моя? Ничего не знаете о Майке?

— Здрасьте! Олег, ты че, блин, книжками отравился? Майка уж тоже не девушка была, с таким характером долго не живут ни бабы, ни кобылы. Сдали, наверное, на мясо, когда колхоз обанкротился. А чего вспомнил? — спросил Валек.

— Да вспомнил, как летом сено заготавливали в лагере труда и отдыха.

— Много она тебе крови испортила. Весь покусанный ходил.

— Ну! — счастливо заулыбался Олег. — Возьмет ни с того ни с сего и укусит за плечо! Курева не любила. Я как втихушку покурю, так она меня и укусит.

— Бывают и среди кобыл дуры, — вздохнул Аркаша.

— Она тебя любила, — сказал Валек.

— Любила... Ты мою спину видел? А плечи? Руки вон, посмотри, любила! Шрамы от зубов какие! — воскликнул Олег.

— Это на вечную память, — сказал Аркаша. — Чтобы помнил.

— А жена твоя кем работает? — внезапно спросил Валек.

— Работает женой. Переводчицей раньше была, потом учителем. Любила... Еще как любила...

— Тоже, значит, языки знает, как и ты, — сказал Аркаша. — Хорошо вам. А я с Катей все нервы вымотал. Она продавец, и нету у нас ничего общего.

— Во дает! — воскликнул Валек. — Три девки рожены, и ничего общего? Але! Очнись! Моральный кодекс!

— Все разговоры о тряпках, — вздохнул Аркаша. — Можно сойти с ума. Потому один у меня собеседник — телевизор.

— А моя сидит на диете, — прервал его Валек. — Не ест, готовить не хочет, боится растолстеть. Ем один, сплю один, работаю один. Где она? Не знаю. Вроде есть, вроде нет. Но красивая. Она у меня третья по счету.

— Ты всегда красоту уважал, — согласился Аркадий. — Помнишь Ирочку? Наверное, она тоже приедет на встречу.

— А Дина? — спросил Олег.

— И Аллочка? Во, блин, всех девок оприходовал в городе! — воскликнул Аркаша.

— Никого я не оприходовал. Ухаживал просто. Это они меня оприходовали — красотой своей. Так бы, может, жизнь по-другому сложилась, если бы не они. Бомблю теперь по ночам, вся жизнь на диете.

— Ты же университет закончил, — сказал Олег.

— Теперь все университеты заканчивают. Что толку? Отличники операторами котельных устроились, кто попроще — грузчиками, а я — бомбила. У меня вон — пес. И хватает.

В машине повисла густая тишина. Они ехали вместе куда-то далеко-далеко в заснеженное детство, в прошедшую юность, в страну, затерянную среди полей и лесов, среди просторов огромной вселенной, куда ведет единственная дорога сквозь белые пушистые хлопья снега, мимо желтых звезд.

Три бродяги, три одиноких, утомленных жизнью мужчины ехали туда, где жили мечты и надежды, где они любили весь мир и где весь мир любил их. Казалось, что можно еще успеть исправить какие-то ошибки или достоверно убедиться в том, что ошибок не было.

— Во, блин, глянть, как! — воскликнул вдруг Аркаша. — Космос!

Он махнул широкой, как лопата, ладонью в сторону лобового стекла, в которое, как полуживые мотыльки бились отчаянные снежинки. Дворники шустро сгребали их тающие тельца и расшвыривали, погасших, вялых, мокрых, — по сторонам, за края, за берега пространства и времени.

В школе было очень холодно. Что-то сломалось в котельной и потому замерзли и треснули батареи. Мороз за ночь окреп до тридцати градусов, потому торжественную часть вечера встречи перенесли в районный дом культуры.

В полутемном, большом, уютном зале, где по-старому пахло пылью и тайнами, царил дух торжества и победы. Народу было полным-полно. Олег сел в последнем ряду, и весь обратился в зрение и слух, будто стал ледяным стеклянным аппаратом, камерой в руках невидимого оператора, снимающего на пленку сон о путешествии в прошлое.

Аркаша, распаренный, красный, махал лапами своей дубленки и лез обниматься ко всем подряд, будто жил не в городе, а на южном полюсе и впервые вырвался к людям от своих белых медведей. Он то затравленно зыркал по сторонам, то взмахивал руками и хохотал, как пароход, то гордо оглядывал весь зал, пытаясь кого-то найти. Может, Олега, может, Кавалерию.

Валек топтался рядом с одноклассницами Светой и Машей, совсем не постаревшими, очень радостными, какими-то теплыми, родными. Олег улыбнулся горько, подумав, что свои девчонки с возрастом становятся ближе, а чужие — все дальше и дальше. Только Люсечка, маленькая, худенькая, болтливая, показалась ему издалека сухонькой старушкой, неугомонной бабкой Ежкой, которую она играла раньше в спектаклях на новогодних праздниках. Она мешалась под ногами у Гены — своего мужа, и Олег пожалел грустного Гену из параллельного класса.

Потом внезапно погас свет, на сцене появились ведущие, экран засветился, замелькали кадры, на которых вернулась из небытия их беззаботная жизнь. Вот их класс, такие же, как сегодня. Нисколько не изменились. Вот и Ее класс. Она в первом ряду, тихая, спокойная, строгая...

Темноту зала то и дело пронизывал луч света, вырывающийся из щели боковой входной двери. Каждый раз Олегу казалось, что из светлого коридора в темноту зала вошла Она. Присела где-то в сторонке, как обычно, на краешек стула, чтобы никому не мешать, никого не потеснить, не обременить... За всю жизнь он не встретил больше ни одной такой, как Она. Все заходили властно, по-хозяйски широко распахнув объятия, а уходили, громко хлопнув дверью. Все рассаживались, разваливались посреди его жизни, заполняя собой пространство и заставляли служить. Он подчинялся, не спорил, служил, потому что не умел спорить с женщинами.

А Она была облаком. Летела по небу, то бережно закрывая от палящих лучей солнца, то сторняясь и открывая яркие звезды. Летела рядом, чтобы ему не по-

казалось, что земля уходит из-под ног, а звезды мчатся навстречу, опасные, как осы. Она плыла над ним, чтобы он стоял на ногах крепко. Только Олег смотрел неправильно, не под тем углом, и потому однажды земля упала и он тоже страшно полетел следом за землей куда-то...

На сцене один за другим выступали учителя, выпускники и учащиеся школы. Они читали стихи, пели песни, танцевали, дарили друг другу подарки и цветы, а он смотрел сквозь них на экран, где замер неподвижно их класс: у всех в руках ведра, рядом — телега с ящиками, Майка, Олег, с кнутом. Сейчас где-нибудь Аркаша язвит: конюх-переводчик, кнут с пряниками...

Если Она приехала, то тоже видит его. Смотрит откуда-то с третьего ряда, со своего облачка, отстраненно и бесстрастно, как смотрят с икон святые...

Последний раз он видел ее на лесной речке возле ее деревни, где был городской пляж. В детстве они ездили на пляж на велосипедах, потом, подростками — на мопедах, потом — на мотоциклах, потом — на машинах. А Она приходила пешком — деревня была на другой стороне реки — переходила мелкую речку вброд и купалась возле разрушенной запруды старой мельницы. Поток воды был сильным, речка в этом месте была неглубокой, неопасной, крупные камни развалившегося моста образовывали большие и малые живописные водопады, в которых любила плескаться детвора.

Живописные развалины, заросшие ивами берега, имели магическую силу, которая притягивала сюда всех, кто хоть однажды здесь побывал. А Она бывала каждый день, и потому эту силу впитала и знала, видно, как ею распорядиться.

Был сентябрь. Олег приехал в отпуск помочь матери копать картошку. Мать была уже слабой, отпуск подошел к концу, картошка была выкопана, огород убран, забор поправлен. Вечером они пили чай на кухне. Солнце почти коснулось края земли, как вдруг Олег вскочил и быстро пошел к машине:

— Искупаюсь...

Он приехал на пустой пляж, разделся, прошел по мокрому, холодному песку к воде и шагнул в речку быстро, будто подчиняясь чьему-то строгому приказу. Сердце замерло, занемело от холода, на мгновение перестало стучать и снова глухо, тяжело забухало. Он переплыл узкую речку, вышел на другом берегу, у водопадов, пошел к разрушенной основе старого моста. Сел на камень и тут же встал — летом камни отдавали тепло, а в сентябре забирали. Олег постоял, разглядывая стены старой мельницы и радуясь, что время их не берет. Там, на высоком берегу, над камнями, всегда появлялась Она. Ее было видно издалека. Светясь на солнце, тонкая, прозрачная, почти нереальная, в шелковом платье, которое плыло над ним, как розовое облако в лазурной вышине, Она стояла и ждала, когда он будет нырять... Нырять он лучше всех! Уж старался!

Олег улыбнулся, дрожа от холода, поднял голову и чуть не упал. Окаменел: Она стояла на высоком берегу в лучах заходящего оранжевого солнца — высокая, прозрачная, невесомая, плыла над ним, как неожиданная горькая правда, прозвучавшая во сне.

Он поспешил назад, торопливо, как трус, переплыл речку, вышел на берег и, не оглядываясь, пошел к своей машине. Из-за кустов, где стояла машина, Ее не было видно, но он знал, что сейчас она исчезнет, а потом появится справа, перейдет речку вброд, на сухом песке пляжа расстелет покрывало. Сядет с краю, так, чтобы никого не стеснить, не напрямч своим присутствием...

Он переоделся в машине и вышел.

Она сидела на берегу, в речке купались два мальчишки. Олег подошел к воде, сполоснул ботинки.

— Не холодно? — спросил он малышкой.

Те синеватыми от холода губами, дрожа, воскликнули радостно:

— Т-т-тепло!

Она улыбалась молча. Олег вернулся к машине.

Когда торжественная часть закончилась, загорелся яркий свет, зазвучала бодрая музыка, все вокруг стало праздничным, волшебным, новогодним, показалось, что случилось чудо.

Олег подошел к своим.

— Ты где был? — недовольно пробасил Аркаша.

— Купался, — сказал Олег.

— Умник, блин...

Радостное ожидание продолжения праздника за праздничными столами в городской столовой повысили настроение так, что Олегу показалось: если кто-то зажжет спичку, то дом культуры лопнет, как воздушный шар.

Олег оглянулся по сторонам. Ее класс был не очень дружным. Несколько человек столпились вокруг старенькой математички по прозвищу Булка, и ему вдруг показалось, что высокая женщина, стоящая спиной к нему — это Она...

Как тогда у реки, он рванул, как трус, к дверям. Выскочил из дома культуры, будто его ошпарили.

Сейчас в столовой он пригласит ее танцевать и скажет: «Я никого не смог полюбить кроме тебя». Скажет, и все.

Возле дома культуры шумели, рассаживаясь по машинам, выпускники и учителя. Было холодно, морозный снег, как крахмал, рассыпался и стеклянно скрипел под ногами.

Родной городок казался незнакомым. Дома стали маленькими, низкими, будто вросли не только в сугробы, но и в землю. На базарной площади были еще целы старинные деревянные магазинчики. В коричневом продавали резиновую обувь, и там так вкусно пахло, что даже радостно ныли зубы. В голубом домике с верандочкой сухенький дедок продавал мед и продукты пчеловодства. Теперь на его стене красовались вывески с иностранными словами, но Олег не поверил этим словам. Город по-прежнему жил своей жизнью, как и тридцать лет назад. Ничего не изменилось.

Олег подумал, что утром будет неприятно проснуться в гостинице. Он никогда не ночевал в городской гостинице, ходил мимо нее в школу и из школы, не задумываясь о том, что в ней. Показалось, что утром он проснется и услышит заморскую речь. В гостиницах всегда говорят не по-русски...

Возле деревянного покосившегося ларька, где раньше продавалось развесное мороженое местного производства в бумажных стаканчиках, были привязаны две лошади, запряженные в телеги. Олег вспомнил, как было томно стоять в очереди и ждать, когда толстая добрая продавщица Лубниха взвесит на железных весах с гирьками желтоватое, ароматное, пахнущее морозом и арбузом мороженое, чтобы потом, зажав портфели под мышкой, плоскими деревянными палочками с еловым новогодним вкусом есть вкуснейшее из всех придуманных в этом мире лакомств.

Удивительно, что так поздно вечером в городе были привязаны кони. Сердце Олега вдруг задрожало, затревожилось, заколотилось взволнованно. Он любил коней. Одно время он даже мечтал стать ветеринаром, но мать не разрешила, боясь, что его пошлют работать в колхоз.

Если бы не карьера, он обязательно завел бы коня. Жил бы с Ней в большом доме, растил двоих сыновей...

Олег вжал голову в плечи и, стараясь не смотреть в сторону лошадей, быстро прошел мимо них к воротам рынка. Он уже почти шагнул за ворота, как вдруг ус-

лышал неуверенное, краткое ржание за спиной. Олег остановился как вкопанный, будто лошадь сказала: «Стой!» Он ухватился рукой за каменный столб ворот и прислушался. Ржание повторилось, еще более робкое, неловкое...

— Что?.. — прошептал Олег.

Лошадь заржала громче.

Олег медленно оглянулся:

— Майка?..

Он пошел к лошади.

— Майка!

Кобыла резко вскинула голову и заржала звонко, молодо и счастливо.

— Майка! — закричал Олег, подбегая к ней. — Живая! Ты меня узнала, Майка!

Олег обхватил лошадь за шею двумя руками и стал целовать ее холодную, покрытую инеем морду.

Майка фыркала, тычась ноздрями в его плечо, пихая его головой то в грудь, то в подбородок. Она перебирала ногами, будто собиралась бежать куда-то далеко-далеко в прошлое, где они были вместе. Она дрожала и всхлипывала глухо и горько, как огромный ребенок.

— Майка, Майка... — повторял Олег.

Он больше ничего не мог ей сказать, потому что сказать было нечего.

— Эй, мужик! А ну отойди от кобылы! Отойди, я сказал!

Олег очнулся.

— Чего тебе надо от нее? Нажрался и лезет обниматься. Пальма, Пальмушка, моя хорошая.

Крупный, бородатый старик в легкой не по морозу фуфайке и замасленной кроличьей шапке взял лошадь под уздцы.

— Разве это не Майка? — растерянно спросил Олег. — Это Майка, я ее знаю.

— Ну и что, что ты ее знаешь. Ее все знают. Зачем лезть-то? Это ж не игрушка.

— Я конюхом работал в колхозе. Я ящики возил! И сено! Меня дядька устроил. Подработать. Яблоки, картошку, сено... Тридцать лет назад. Она кусалась.

Майка всполошилась, заржала, будто вспомнила, как кусалась.

— Кусалась, кусалась, — потрепал ее за гриву Олег. — Оставила мне шрамы на память.

— У меня дочка Майка, — признался старик. — Когда колхоз распускали, я эту кобылу-то свою — купил. Дешево купил. А имя пришлось поменять. А ты кто? Чейный?

— Я-то?

Олег задумался.

— Да... Федотов... Веру Ивановну знали?

— Не, я из деревни, городских не знаю...

— Я — проездом. Жил тут раньше на Коммунальной.

— А теперь ты где?

— В гостинице...

— Это худо... Надо дома жить, — сказал старик. — В гостинице — не дело.

Олег кивнул, резко развернулся и направился к воротам рынка.

— Куда ты, малец? — воскликнул старик. — Мороз, глянь, какой, в гостинице холодно. Поехали ко мне!

Олег сжал зубы, чтобы не заплакать. Он слышал, как надрывно, тревожно, судорожно всхлипывая, заржала ему вслед Майка, ускорил шаг, почти бегом побежал к автовокзалу, взял там такси и попросил сонного водителя отвезти его на железнодорожную станцию.

Они мчались по гладкой трассе. По радио звучала песня про маленького принца и звездную страну — любимая с детства песня.

На черную ночь из звездной вышины вновь посыпался снег. Он кружился, бился в лобовое стекло, будто машина летела не по земле, а по небу и попала в полосу мелких золотых и серебряных метеоритов. Каждый летящий комочек мог стать, но не становился чьей-то планетой, исчезал, разбившись о неожиданное, прозрачное препятствие. Это получалось, может, и потому, что когда-то глупый Маленький Принц улетел в поисках волшебных знаний, потерялся в пространствах Вселенной, забыл дорогу назад и не вернулся вовремя туда, где бросил всех, кого приручил. А теперь, когда так гулко и больно отозвалось в нем что-то вечное, возвращаться было некуда.

